

100 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ



С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Пристав Дерябин
Пушки выдвигают

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Пристав Дерябин.

Пушки выдвигают

Серия «Преображение России», книга 1

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9884266

*Пристав Дерябин. Пушки выдвигают: Фолио; Харьков; 2014
ISBN 978-966-03-6930-6*

Аннотация

С. Н. Сергеев-Ценский (1875–1958) – известный русский советский писатель. Печататься начал в 1900-х годах. С 1905-го и до конца жизни жил в Крыму, в Алуште. После смерти писателя в его доме открыт мемориальный музей. В конце 1920-х годов романом «Валя» писатель положил начало эпопее «Преображение России», в которую вошли и созданные позднее романы «Зауряд-полк» (1934), «Лютая зима» (1936), «Пушки выдвигают» (1943), «Пушки заговорили» (1944), «Бурная весна» (1943), «Горячее лето» (1944), «Утренний взрыв» (1951), а также повесть «Пристав Дерябин» (1956). Эти произведения рассказывают о Первой мировой войне и основаны на богатейшем материале, который писателю дало пребывание в действующей армии во время Русско-японской войны и в первый год Первой мировой. В повести «Пристав Дерябин»

впервые появляется знаковая фигура – пристав Дерябин, садист, взяточник и вымогатель, с которым читатель встретится и в других произведениях, входящих в эпопею «Преображение России». Его слова: «Россия – полицейское государство... А пристав – это позвоночный столб...» – очень точно характеризуют обстановку, сложившуюся в Российской империи. Дополняют эту характеристику и события, изображенные в романе «Пушки выдвигают», действие которого происходит в 1914 году.

Содержание

Пристав Дерябин

5

Конец ознакомительного фрагмента.

60

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский Пристав Дерябин. Пушки выдвигают

Пристав Дерябин

I

Со взводом не хотелось идти; взвод пришел во двор третьей части в шесть часов вечера, а прапорщик Кашнев к семи часам приехал на извозчике.

Входя во двор в полутьме густого осеннего вечера и ища в карманах шинели бумажку командира о назначении в помощь полиции, Кашнев услышал откуда-то из глубины низкого здания через форточку широкогрудый, сиплый, акцизный бас; бас был хозяйственный, в каждой ноте своей уверенный, как в прочности земли, ругал кого-то мерзавцем, подлецом и негодяем.

«Ишь, разоряется пристав!» – добродушно подумал Кашнев.

Зная, что придется не спать ночью, выспался он после обеда, и теперь, как всегда после крепкого сна, все казалось ему сглаженным, безуглым; как-то не совсем установилось, плавало, — и бумажку не хотелось искать: может быть, была она в сюртуке, в боковом кармане, — бог с ней.

В потемках не видно было всего двора: справа желтел только фонарь где-то в глубине, около сытой желобчатой лошадиной спины, должно быть — в конюшне под каланчою, а слева, через окно, в глубине дома, в растворе каких-то внутренних дверей синел абажур лампы, да далеко впереди, в переплете двух маленьких окошек золотел свет, и двигалась в этом свете тень сутулого взводного Крамаренки.

«Все хорошо, и все на своем месте», — добродушно подумал Кашнев, и, ловя на земле шагами скупые полосы и пятна огня, мимо пожарных бочек, круглого чана с желобом, будки с колокольчиком, еще чего-то невнятного, он пошел посмотреть своих солдат, хотя это было и не нужно, и шел как-то инстинктивно по-своему, так как две походки были у Кашнева — строевая и своя.

— Встать, смирно! — истоиво крикнул Крамаренко, когда увидел Кашнева в дверях...

Солдаты вскочили, вытянулись, застыли.

И вот вдали от казармы стало как-то неловко Кашневу за этих давешних людей — солдат и как будто не солдат.

Они смотрели на него, новые при скупом свете дрянной керосиновой лампочки, все с лицами усталыми, ожидающи-

ми чего-то, а он не знал, зачем они это и что им сказать.

– Ну что, как? – неопределенно спросил он. – Это что за дыра?

– Это, ваше благородие, кордегардия, кутузку нам ответили, – ответил Крамаренко.

– Попали за верную службу в кутузку раньше времени, – сказал пожилой запасный Гостев, и улыбнулись все.

– Ваше благородие, нельзя ли нам соломки где взять, на пол постелить... А нахаркано ж везде, страсть! – сказал кто-то другой.

– Нечистота, – поддержал третий, степенный. – Как тут лечь? Шинеля позагадишь... И тесно!

– А пристав объяснил, что тут делать? В чем помощь полиции? – спросил Кашнев.

– Сказали, что в обход пойдем в двенадцать ночи, а до того времени чтобы спать лягали, – ответил Крамаренко.

– А спать тут не успишь, – подхватил Гостев. – И клопы!

– Хорошо, достань соломы... Я вот передам приставу... Тут где-то я лошадь видел, – должно быть, есть солома.

– Пожарная команда тут, как же! – подхватил Гостев. – Тут соломы тьма!

Кашнев всмотрелся в его лицо, подслеповатое, с белобрысой бородкой, и подумал отчетливо: «Рядовой, а все время говорит, когда не спрашивают...» И потом выкрикнул как мог начальственно и строго:

– Крамаренко, распорядись!

– Слушаю! – ответил Крамаренко и проворно взял под козырек.

Когда Кашнев шел к чуть заметному крыльцу дома, походка у него была уже строевая, и он не искал ногами золотых полос и пятен, а шагал прямо «направление на крыльцо». На крыльце долго не мог найти щеколды, а когда нашел и отворил дверь, наступил в темноте на какого-то щенка, который завизжал оглушительно и бросился мимо его ног на двор. Наудачу Кашнев отворил прощупанную впереди дверь, обитую клеенкой. Запахло щами и хлебом; городской, вскочивший с лавки, на которой он ел, поспешно вытерся рукавом и проводил его в канцелярию.

II

При первом же взгляде на пристава Кашнев как-то странно почувствовал не его, а себя – свое юношески гибкое тело, узкие руки, едва опушенное лицо: так остро чувствуют себя люди при встрече с чем-то бесконечно далеким от них и враждебно чужим. Кашнев считал себя выше среднего роста, но, чтобы посмотреть в глаза приставу, он сильно поднял голову.

Пристав был громаден. Когда он, представляясь, просто сказал свою фамилию: Дерябин, то как будто нажал на бабы церковного органа, и рука его, в которую попала рука Кашнева, оказалась таким большим, теплым, мягким вме-

стилищем, точно стал Кашнев ребенком и погрузил детские пальцы в песчаный речной берег, сильно нагретый июльским солнцем. Сквозь круглые очки глядели выпуклые, серые, близорукие глаза, большие на большом круглом безбородом лице, и голова была коротко остриженная и тоже округлая, как арбуз. Тужурка казалась тесной в плечах и в вороте и вся была как-то битком набита упругим мясом. Было приставу тридцать пять лет на вид или немного больше.

– Побеспокоили мы вас, – прошу простить: новобранцы! Ежели не пьет, не буянит, не орет, фонарей не бьет, сукин сын, то какой же он новобранец, черт его дери? Закон у них такой, штоп...

Вместо «простить» у него вышло «простеть», а вместо «буянит» – «буянет»: «и» ему было не по голосу.

Потом он повернулся от Кашнева неожиданно легко для своего огромного тела и крикнул в двери:

– Культяпый!

И тут же в какой-то дальней комнате что-то загромыхало и покатилося по не заставленным ничем полам: слышно было, что дальше за канцелярией несколько комнат, и все пустые. Потом в двери пролез Культяпый – кривоногий седенький старичок, одетый в форму будочника, – и стал смиренно.

– На стол! – коротко приказал Дерябин.

И когда уходил Культяпый, тем же манером громыхая по комнатам, – сказал о нем пристав:

– Нянька моя, – меня выхаживал во время оно... Дурак,

но предан. Держу, черт его дери!

Два писарька сидели в канцелярии, – им крикнул пристав: – Марш домой!.. С нас вас на сегодня будет, собственно говоря.

И писарьки – один угрюмый, красноносый, явный пьяница и сутяга, другой угреватый подросток – вскочили, застучали, складывая толстенные книги, и ушли.

И вот осталась большая, вся заставленная столами канцелярия, лампа с синим абажуром, за канцелярией внятная пустота нескольких комнат, за форточкой сырой темный вечер – и пристав. И несколько мгновений пристав смотрел на Кашнева молча, немного жуткий, потому что был освещен снизу лампой, отчего лицо его стало сырым, синим, вздутым, как у утопленника; молчал, только для вида перебирая на столе какие-то бумаги.

– Между прочим... – поспешно, точно боясь забыть, начал Кашнев, – солдат, своих помощников, вы – в каземат... Неужели нет больше места?

– Солдат? Куда же мне солдат?.. Дворец для них? Баловство! – Пристав посмотрел на Кашнева как-то сразу всем телом и добавил: – Терпи голод, холод и все солдатские нужды... что? Даром, что ли, новобранцы фонари бьют, черт их дери? Баловство! Разврат!

– Я приказал им соломы в конюшне взять, – ответил Кашнев, смотря ему прямо в большое лупоглазое лицо, – но не так, как смотрел раньше, когда вошел, а просто, только бы

смотреть, — и dokonчил: — постелить на пол, а то там наплевано.

— А я прикажу взять обратно! — крикнул Дерябин. — Баловство!.. Зачем им солома?.. Нежность!.. И на черта мне их пригнали, пятьдесят человек? Что мне с ними, в чехарду играть?.. Эй, дежурный, гоп-гоп! — крикнул он в двери.

И не успел еще Кашнев сообразить, как ему лучше обидеться на пристава, как уж кричал тот кому-то в другой комнате:

— Передай взводному, чтоб... пятнадцать человек при унтер-офицере оставил нам, а прочих — в ярк на пчельник, в казарму на топчанах спать, черт их дери! Да солому там, если солому взяли, так потом ее прямо в навоз; под лошадей в стойла не класть: раз солдат проспал, так уж на эту солому и лошадь не ляжет... Понял? Пшел!

В пустой комнате голос пристава бурлил и клубился, как дым кадильный, а Кашнев сзади смотрел на его дюжую спину, могучую шею и светлый затылок и все как-то не знал, что ему сделать: нужно было что-то сказать колкое, но он сказал:

— Поэтому и я вам тоже не нужен?.. Прощайте.

— Кто? Вы? — Пристав поспешно обернулся и взял его за плечи. — А для кого же стол накрывают? Господи, твоя воля!.. Сказано было: взвод при офицере... ну? Взвод я по мирному составу считал, — по военному прислали. Ошибка исправлена. Лишних людей отослали, черт их дери, спать, а офицера... нет-с, не отдам! Культяпка! Сыми с их благородия ши-

нель, живо!.. и спрячь!

И где-то в соседней комнате звякавший посудой Культяпый подкатился к Кашневу на коротких ножках и, сопя, принялся стаскивать с него шинель. Он касался его своими седенькими мертвыми бачками и лоснящимся небольшим черепом; изо рта его сильно пахло съеденными старыми зубами, и руки тряслись.

– Вы семейный? – зачем-то некстати спросил пристава Кашнев.

– *Omnia mea!*¹ – ответил пристав и поднял указательный палец вровень с лицом.

Из этого Кашнев понял, что он одинок.

Стол в канцелярии были неопрятные, некрашенные, сосновые, старые, покрытые листами пропускной бумаги, замазанной чернилами; было накурено и сперто – не помогала и форточка; не подметенный, заслеженный грязный пол скрипел песком под ногами. Кто-то сдавленным пискливым скопческим голосом, картавя, неприлично выругался в той комнате, где гремел посудой Культяпый.

– Сильно сказано, – отозвался на это Кашнев. – Кто это?

– Попка. Ка-ка-ду, – шаловливо протянул пристав и улыбнулся длинно, причем толстомясое лицо с бычьим подгрудком помолодело вдруг. – Случается, дамы его ласкают: попка-попочка, попка-душечка! – а он как запустит, – господа, ваша воля! Сколько раз за него извиняться приходилось:

¹ *Omnia mea* <*meum porto*> (лат.) – все мое при мне.

люблю, мол, эту птицу, но-о... воспитана плохо, никак отучить не могу, – прошу простить.

И тут же он, пышущий только что закуренной папиросой, вдруг крикнул весело, подхватил сзади Кашнева за локти, как это делают с детьми, высоко поднял, грузно пробежал с ним несколько шагов, распахнул им же настежь двери и поставил на пол в той комнате, где гремел посудой Культияпый и неприлично ругался попугай.

Горела большая высокая лампа, от которой свет дробился весело на горлышках бутылок, рюмках и жестянках с консервами, которыми был уставлен стол; блестели листья большого фикуса в углу, и в просторной куполообразной клетке, головою вниз, висел белый какаду и трещал поперек по спицам крепким клювом, раздувая сердито хохол. На стене над большим диваном развешаны были ружья, шашки, револьверы.

III

– Милый мо-ой! – раскатисто гремел пристав, сидя с Кашневым за столом и накладывая ему на тарелку шпроты. – Вы себе представить не можете, какие все в общем мерзавцы, подлецы, негодяи, – представить не можете!.. Вор на воре! Мошенник на мошеннике! Подлец на подлеце! Факт, я вам говорю!.. Ведь отчего у нас столько преступлений? На каждом шагу убийства, разбои, какие-то цыганские шайки

тоже... фигурируют!.. Что такое? Откуда, я вас спрошу? Простейшая история: общество у нас жулик на жулике, общество по-го-ловно все – подлейшего состава! Понятия о честности ни малейшего!.. У нас если не крадет кто, – просто случая подходящего ждет. Дайте ему смошенничать втихомолку, в укромном месте, отца родного продаст, только бы тот не узнал, – факт, я вам говорю! У нас арестантов ведут, а им бабы копейки суют: несчастненькие!.. Да он на своем веку дюжину таких баб, как ты, шкворнем ухлопал, дура чертова! Всепрощение? – это называется слюни пускать, а не всепрощение! Принципов нет! Круговая порука, нынче ты меня ограбил – ты в кандалах, завтра я кого ограблю – я в кандалах... От тюрьмы, от сумы не отказывайся... Разврат! – факт, я вам говорю! На каждого нищего как на первейшего мошенника нужно смотреть, а они у нас рассадники жалости, а-а?.. Какая у нас жалость, милый мо-ой! У нас жестокость нужна! Драконовы законы нужны!.. На полицию ты с уважением смотри, а не так!.. Полиция не с ветру!.. Ты общество копни, т-ты! Нутро копни, а не какой-нибудь ноготь, болван! Зерно возьми, раскуси, а не... а не так... с чердака в лапоть... да-с!.. Ну-ка, холодно в Сибири, выпить надо! – и пристав, все время сверкавший очками, вдруг снял их, отчего лицо у него, как у всех близоруких, сразу потухло, стало наивным, сонным, расплывчатым, и взялся за рюмку.

– Пожалуй, одну я выпью, – сказал, улыбаясь, Кашнев.

– Одну? Как одну? Почему?.. Не пьете? Совсем не пье-

те? – удивился пристав.

– Нет, не приходилось как-то...

– Смотрите! Баран у нас вот так тоже не пил, не пил да издох. Ну-ка, мы! – и он потянулся чокаться.

Но когда приподнялся Кашнев ему навстречу, пристав увидел у него на груди маленький скромный значок, которого он почему-то не успел заметить раньше: синенький крестик в белом ромбе.

– Как? – онемело спросил Дерябин и прищурил глаза.

Руку с рюмкой он тоже отвел. Другой рукою нашарил очки, прикинул к глазам, пригляделся испуганно.

– Этто... что значит?

– Что вы? – не понял Кашнев.

– Так вы мельхиоровый? Из запаса?.. По случаю войны взяты?.. С воли? – с усилием спросил Дерябин.

– Да. Что из этого следует? – обиженно спросил Кашнев.

– Ничего, – нахмурился вдруг пристав и медленно, – лупоглазый, краснотубый, с небольшими усами подковкой, – наклонил свою рюмку над пустою тарелкой и вылил водку. Потом он как-то тяжело ушел в мягкое кресло, на котором сидел, подперся рукою и закрыл глаза. Только слышно было, как густо дышал, раздувая широкие ноздри небольшого носа.

Попугай обругался вдруг в тишине. На стене напротив как-то серьезно молчали симметрично развешанные ружья, шашки, револьверы. Мертво блестел лист фикуса. Кашневу

было неловко, и думал он, не пойти ли просто домой. Подумал о своих солдатах: должно быть, спали теперь в каземате на свежей соломе.

Вот открыл снова глаза Дерябин, мутно пригляделся, спросил немного хрипло:

– Вас... как зовут?

– Дмитрий Иванович, – с привычной готовностью ответил Кашнев.

– Митя? – неистово удивился Дерябин. – У меня ж брат был Митя, от тифа умер... Какой малый чудесный был! Митя! Выпьем на «ты»! – вдруг поднялся Дерябин. – А? – И почти безволосые, еле внятные брови нахмурил, наклонил голову, подобрал подбородок и исподлобья глядел на Кашнева ожидая.

– Как будто на «ты» нам пить... – запнулся Кашнев, улыбнулся конфузливо и покраснел, и, покрасневши, сам на себя обиделся вдруг; подумал: «Не все ли равно? – ведь никогда его больше не увижу...» И неожиданно для себя поднял рюмку и сказал:

– Что же, выпьем.

И потом сразу стало тесно, трудно, жарко: это могуче обнимал, тискал и целовал его в губы и щеки Дерябин. И, глядя на него влюбленными радостными глазами, тяжело, точно страдающий одышкой, говорил Дерябин:

– Митя, а? Митя!.. Ведь ты себе представить не можешь, какие все в общем мерзавцы, скоты!.. У тебя в казарме, там

что? Ти-ши-на! «Никак нет», «ряды вдвой», «равнение направо»... А я здесь как черт в вареной смоле киплю! Свежего человека нет, – все подлецы! Факт, я вам говорю!.. На счет новобранцев, – это я сочинил, что мне солдаты нужны, черт их дери... Ты уж – прошу простить, сочинил. Мне офицер был нужен. Со взводом, думаю, кого же pošлют? Субалтерна, молодого какого-нибудь, честного... Ты ведь честный, Митя, а? Даже спрашивать нечего, честный еще, по глазам вижу, – честный... Митя, а? Ну, выпьем! Нне так! Т-ты, гимназист! Крест-накрест. Руку давай сюда, вот! Гоп! – и Дерябин лихо поддал, как на каменку, свою рюмку, и поперхнулся водкою Кашнев.

Сказал пристав, усевшись:

– Это напрасно у меня такая фамилия – Дерябин; мне бы нужно Бессоновым быть: я вот третью ночь сегодня спать не буду. Вчера ночью с новобранцами возился, а третьего дня меня чуть было студент один не убил.

– Как?! – спросил Кашнев.

– Как! Как убивают? – Вооруженное сопротивление. Арестовать нужно было, я к нему в два часа ночи с нарядом, а у него дверь на замок, – и пальба пачками. Сражение. Городовому одному ухо прострелил: так кусок и выхватил, – вот, с ноготь кусок... Как рвану я эту дверь, да в комнату! Раз он в меня, – вот так пуля! Рраз, – вот это место мимо пуля... нну, руки ж дрожали, дрянь! Кинулся я – и его с ног сшиб и револьвер отнял, – честь честью!.. Вот револьвер – маузер.

И, говоря это, он подошел к стене и снял длинный, солидно сделанный новенький револьвер.

– Вот! Из него как из солдатской винтовки пали: никакого промаху и быть не может!.. Как он в меня не попал? Нет, ты скажи, черт его дери! Что я для него, муха?

И, держа маузер на прицел, он спросил:

– У тебя какой системы? Наган?

– У меня?.. Да у меня никакого нет, – почему-то неловко стало Кашневу.

– Газета на шнуре?.. Хочешь, подарю!.. Вот – наган. Система – наган, работа – Тула, бери. Бьет здоровенно, не смотри, что Тула... А маузер нельзя, к делу пришью... бери.

– Ну вот... Точно я купить не могу, – отвел Кашнев его руку с наганом.

– Отказался? Что? – удивился Дерябин. Он стоял с револьверами в обеих руках и обиженно смотрел на Кашнева воспаленными от бессонных ночей глазами. – Почему отказался?

– Зачем же такие подарки делать? – мягко говорил Кашнев. – И ты... (неловко вышло у него это первое «ты») ты меня ведь в первый раз видишь...

– Так что? Не пойму!

– И, наконец, что это за револьвер такой, бог его знает!

– Та-ак! – горестно протянул пристав. – Так и запишем...

Но вдруг, закусив губы и дернув широкими ноздрями, он крикнул:

– Культяпый!.. Я тебе его сам в кобур положу! – погрозил он Кашневу наганом; и когда появился Культяпый, он закричал ему, вращая красными белками: – Найди там кобур их благородия и привяжи это к шнуру, – понял?

Культяпый бережно взял револьвер и выскользнул с ним проворно, как мышь.

– Митя! – крикнул Дерябин, восторженно глядя на Кашнева. – Митя! Братишка мой был Митя, – от тифа помер... дай, боже, царства небесного... Друг! – он положил тяжелые руки ему на плечи. – Ради дружбы, ради знакомства нашего – сними ты это! – и он гадливо показал глазами на значок и передернул губами справа налево.

– Ну вот! Зачем это? – улыбнулся Кашнев.

– Не могу я этого видеть, – сними! Вынести этого не могу!.. И точно не офицер даже, а какой-то переодетый немец, черт его дери!.. Спрячь, Митя!

У огромного Дерябина стали вдруг умоляющие, немного капризные, детские глаза.

– Ведь тебе это ровно ничего не стоит, а мне... а меня это... по рукам-ногам вяжет, бесит! – страдальчески выкрикнул Дерябин и отвернулся.

Кашнев представил, как позапрошлой ночью в двух шагах в Дерябина стрелял студент, и понял что-то; пожал плечами и медленно отстегнул значок, повертел его в руках и положил в боковой карман.

– Друг! Митя! – заорал Дерябин. – У тебя ж сердце!.. Гос-

поди, – это ведь с первого взгляда видно!.. С одного взгляда!.. Со взгляда!..

И опять Кашневу стало тесно, трудно и жарко, и еще было ощущение такое, как будто кого-то он предал; но тут же прошло это. Было немного пьяно, перед глазами мутно. Скрипел и трещал спицами какаду.

IV

– Я – дворянин, милый мой! И горжусь своим дворянством, и своим офицерским чином, и своей службой в полиции! – клубился голос пристава, как дым кадильный.

Дерябин пил много и много ел, и теперь лицо его как-то начало отвисать книзу; и двойной подбородок, и толстая нижняя губа, и верхние веки, и короткие косички волос, прилипшие к потному лбу, – все как-то спустилось вниз.

– Я ведь тоже в гимназии был, а в университет не пошел... почему? – не хотел; пошел по военной службе. Что? Плохо я сделал? Не то?.. А я себя ломать не хотел, милый мой! Любил скачки, охоту, песни, танцы, черт их дери, – женщин! Люблю женщин! Не одну какую-нибудь, а всех вообще... вот! Против натуры не хотел идти... В пограничной страже служил против Галиции на австрийской границе... А-ах, служба ж была занятная!.. Контрабандисты! Шельмы народ! Двутавровые волки! Ухачи!.. Из-за одного меня со службы турнули... Кутили мы там на фольварке у одного

панка, польский мед пили, а тут взводный, дурак, мне: «Контрабандиста задержали, ваш-бродь, – что прикажете из им делать?..» Нет, ты вот рассуди, – не дурак? Что «из им» можно делать? Ну, отложи его куда-нибудь до утра, а то ночь, и мед этот чертов, и я пьян... «Повесить!» – говорю. «Слушаю», – и ушел. Так минут через двадцать приходит, – а у нас пьянство своим чередом, – в притолку уперся: «Так точно, говорит, повесили...» Что? Кого повесили?.. Мы уж и думать забыли!.. Как смели?.. Идем смотреть с фонарем. Висит действительно, факт! Какой-то, лет двадцати, глаза навывкат, зубы ощерены... Конец. Тты, черт! Преступление. Превышение власти. А уж утром тут из местечка родные этого при-скакали... Что? Суда ждать?.. Я взял сам по начальству на себя донес. Сколько-то там дней, – от командующего войсками телеграмма: «Контрабандиста предать погребению, офицера увольнению, эпизод забвению». Я и подал в отставку.

– Этот анекдот я, кажется, слышал, – сказал Кашнев.

– Со мной случилось, а не анекдот! Факт, я вам говорю, – нахмурил безволосые брови пристав. – Но-о демократов, – этих я ненавижу!.. Своей службы в полиции не стыжусь, нет! А демократа, – я его знаю! Вполне-с!.. Он... корноухий (Дерябин хитро завернул пальцем правое ухо), у него что ни зуб, то щербина, оба глаза косят... хрромой!.. ррвотой через день страдает... регулярно, черт его дери! Он когда из маузера в упор в стенку стреляет, и то норовит не попасть... факт! Нет, ты если с носовым платочком идешь, так платочек этот чтоб

чистенький, беленький, чтоб кружевами обшит, – ты! Ты его духами sprysни, чтоб пахло!.. Ты, если слабость, так без наряда ты, черт тебя дери, на улицу и носу не суй, если ты слабость, а то живо тебе хвост грязными сапожищами отомнут. Ты не вопи на перекрестке, – ты! Ты, черт тебя дери, человеком будь!

– Что ты? Что ты? Дикарь ты! Не то! – махнул рукою Кашнев и улыбнулся длинно. Он никогда не пил много водки и теперь размяк, одряхлел, и появилось в нем что-то женское.

– Не то? – крикнул Дерябин. – Плохо я говорю? Окончательно не то или не окончательно? А?.. Милый мо-ой! Ты себе представить не можешь, какая все в общем слякоть, дрянь! Ни тоски, ни радости, – так, дрянь одна!.. Ты вот... этого студента я... ты меня извини... примял немного... и не то чтобы я это... в пылу битвы, а так, – уж очень мерзко стало: из такого револьвера не попасть в двух шагах... Что я? Копейка? – черт его дери! Суется в волки, а хвост поросичий!.. В меня один цыган-конокрад стрелял на скаку – кокарду сшиб! Волосок бы еще, – и мое вам почтение, – свистульку в череп!.. На скаку! Двух урядников калеками сделал, пока самого убили... факт! Прошлым летом было... Митя, ты не юрист? – перебил вдруг себя Дерябин.

– Юрист, – ответил Кашнев, все больше хмелея.

– Правда? Юриста, брат, сразу видно: у него вид легкомысленный!.. Это я шутя, прошу простить и к сердцу не принимать. А в хиромантию ты веришь?.. Мне, брат, одна немка

мои линии читала (Дерябин вытянул над столом здоровенную ладонь)... где она тут какую-то линию жизни нашла?... С перерывами, говорит, – но-о... длины страшной. Однако отправить, иде же несть болезнь, всегда могут, со всякой линией... А перерывы, – это вот именно – огнестрельные раны... факт... Митя, а ты женщинами увлекался? Не так, чтобы прохладно, для развлечения, а чтобы труба, утоп? Нет? По глазам вижу, что нет. Смотри, ладанка.

И, быстро расстегнув тужурку, снял с себя Дерябин золотой медальон, щелкнул и открыл портрет какой-то молодой женщины.

– Командира нашего корпусного, – отдельного корпуса пограничной стражи безграничной кражи... Нашего, – а это десять лет назад дело было... Бал был... Я ее с бала увез! Понял, что это значит?... За это и со службы долой.

– Давеча ты сказал, кажется... – начал было Кашнев, но не закончил и улыбнулся. С медальона смотрело конфеточное лицо в кудряшках, и он точно подумал о ней вслух: – Должно быть, располнела теперь, за десять лет, а лицо стало в желтых пятнах... Кудряшки мелкие, жесткие, зубы позеленели... почему-то иногда зеленеют спереди...

– Митька! – крикнул пристав. Стал перед ним и смотрел на него с каким-то ужасом и шипел сдавленно, наклоняясь: – Возьми назад!.. Сейчас же назад!.. Сейчас же возьми назад!.. – Даже побледнел Дерябин, и жила на лбу надулась.

И сконфуженный, отрезвевший Кашнев пробормотал рас-

терянно:

– Я пошутил. Сознаюсь – неловко. Прости.

А Дерябин, пряча медальон и застегивая пуговицы тужурки, все глядел на него недоумевающим, почти испуганным и жестким взглядом больших близоруких белесых глаз, и так неловко стало Кашневу, что он поднялся даже, стал близко к Дерябину, протянул ему руку и сказал запинаясь:

– Вижу, что обидел, очень обидел... Извини, голубчик! – и пожал крепко прочную руку Дерябина, поданную медленно, сдержанно и молчаливо.

А в это время в напряженной неловкой тишине комнаты вдруг резко и картаво неприлично выругался попугай.

V

– Митя, а ты против рожна прал? – спросил пристав, когда успокоился, выпил хинной водки и закусил заливным из судака. – Не понял, о чем говорю, или понял? – добавил он, заметив, что глаза у Кашнева далекие.

Но Кашнев понял.

– Случалось иногда, прал, – ответил он улыбнувшись.

– Но... не очень? До большого у тебя, видно, не доходило, нет?... Иначе мы не имели бы удовольствия сидеть за одним столом... так? – прищурился пристав.

– До большого? Да нет.

– Не рисковал шкурой так, чтобы за други живот! Хвалю.

Незачем. Прокурором со временем будешь... Россия – полицейское государство, если ты хочешь знать... А пристав – это позвоночный столб, – факт! Его только вынь, попробуй, – сразу кисель!.. Милый мо-ой! Что тебя красавчиком мать родила – в этом заслуги особой нет! Ты вот из уроды процвети, тогда я к тебе приду и свечку тебе поставлю... А то полиция. Полиция работает, ночей не спит, только от полиции и порядок. Ты его в красный угол на почетное место, полицейского, а у нас он в том углу, где ночные горшки ставят... Ты вот у меня в гостях почему? Потому что ты не в гостях, а в наряде... а без этой оказии погнушаешься и не зайдешь – факт!

– Отчего не зайду? – спросил Кашнев потому только, что Дерябин смотрел на него в упор и ждал именно этого.

– А ты собственно зачем же зайдешь? – Дерябин не улыбнулся, когда добавил: – Если бумажник украдут, пожалуй, зайдешь... заявить.

– Нет, отчего же, именно в гости и зайду, – серьезно ответил Кашнев.

– Зачем же? Говорить тебе со мною... о чем? А угощение это не мое, мне ничего не стоит, – даром дано. Сказал – пришлите кулек, – прислали кулек. Сто зубов против них имею, и они это отлично знают! А вот почему они так не делают, чтобы я к ним ни одного зуба? Невыгодно. Подлец на подлеце. Мошенник на мошеннике... Не полиция – подлец, народ – подлец! Факт!.. Мне сослуживец мой, мой помощник,

старше меня и чином и годами, старик, и души большой, – из исправников сместили за слабость... иногда говорит мне: «Ваня! От тебя в десяти шагах стоять, – и то жарко: до того ты горяч». А я потому для него и горяч, что сам он – зубами ляскает. Так человека запугали, что теперь с перепугу только и делает, что водку цедит. Держу, черт его дери, а пользы от него, – почеси затылок! Заберется с ногами куда-нибудь в поганый трактир и сидит, как пуля в дубу... Прямо как влюбленная баба стал: что ни начнет делать, двадцать раз прибежит спросить, так он сделал или не так сделал... Пошлешь его в ярк на пчельник, да сам сделаешь... И ведь случаев всяких – их тьма темная, а нужно всегда что? Нужно сразу и точно знать, что тебе сделать, сразу и точно... и всегда. И колебаний никаких, ни боже мой, – потому что власть!.. Понял? Что? Плохо я говорю? Не то?

– Хорошо говоришь, – сказал Кашнев.

– То-то... Как же он смел мне сказать: палач?

И, говоря это, Дерябин вскочил вдруг и закричал, поводя налитыми кровью глазами (глаза были влажные, и показалось Кашневу, точно красные слезы в них стояли).

– Да он знает, что такое палач! Ах, корноухий! Самое подлое слово, какое в человеческом языке есть, – каналья он!.. Ведь я по нем, по его дверям залп мог бы дать, а я на рожон полез, сам полез, чтобы он жив был, – стало быть, я не палач!.. Я!.. Я когда становым был, – мужицкие самовары за недоимки продавал, – да, продавал – овец, коров, самова-

ры... Я с мошенников взятки беру – да, беру взятки – с воров, с мошенников!.. Да ведь всех воров и мошенников судить, – их у нас не пересудишь: вор на воре, мошенник на мошеннике... Все – воры! Всякий – вор! Честным у нас еще никто не умер, – чуда такого не было. Факт!.. Ты – честный? Ты пока еще так себе, молочко... Еще не жил; поживи-ка, – украдешь. За час до смерти, если случая не было, последнюю портянку у денщика украдешь, – так и знай! Так с портянкой в головах и помрешь, – факт, я вам говорю!

Засмеялся Кашнев. Смотрел на ярого пристава с дрожащими губами и раздувшимся носом и не мог удержаться, смеялся по-детски.

– Ты... что? – тихо спросил Дерябин.

Но Кашнев смеялся, как смеются школьники, когда им запретил уже это учитель: отвернулся как-то набок и фыркнул.

– Нет, ты что? Ты пьян? – сказал недоуменно Дерябин.

И опять, как в первый раз, когда увидел пристава, Кашнев ощутил как-то остро всего себя, свое молодое, тонкое двадцатитрехлетнее тело, свои, пожалуй, бледные теперь овальные щеки, чистые, красивые глаза, немного узкий лоб, мягкие темные волосы. А смеялся он как-то так, даже и объяснить не мог бы почему. Просто, казался смешным пристав, и даже не совсем ясен был он: то расширялся весь – и нос и губы, то вытягивался и слоился.

– Нет, откуда же пьян? – нетвердо спросил он Дерябина.

– Ты больше не пей, – сказал Дерябин и отодвинул от него

рюмки.

Кашнев огляделся кругом, увидел опять стену, всю увешанную оружием; неугомонного белого попугая, который все качался и грыз спицы клетки; пасти окон, закрытых ставнями снаружи; фикус с обвисшими листьями.

– Нет, я не пьян, – сказал он громко, – мне только смешно показалось, как это я портянку солдатскую украду!..

И вдруг он вспомнил, что с ним случилось сегодня утром, и показалось ему, что вот сейчас он должен сказать это Дерябину, сказать, что не только не украл ничего солдатского, а даже...

– Ваня! – сказал он ласково, чуть восторженно, и лицо у него загорелось. – Вот ты сейчас до солдатской портянки дошел, а ты и не знаешь...

Он положил руку на плечо Дерябина, удобно широкое, как конское седло, посмотрел в его все еще подозрительные белесые глаза и, вспоминая то, что случилось, почувствовал неловкость.

– Ты, должно быть, страшно силен, а? – неожиданно для себя застенчиво спросил он.

Дерябин кашлянул глухо, как-то одним ртом, покосился на него и сказал хрипло:

– Так себе... Пять пудов выжимаю.

– Здорово! – качнул головою Кашнев.

– Да. Вот, – буркнул Дерябин. – А тебе стыдно! В твои годы я понятия никакого об усталости не имел... Факт! Тебе

на войну если, – не бойся, ни одна пуля не заденет. Японская пуля тонка, а ты еще тоньше... В России жить, дяденька, – ка-кой закал нужен! Ты... ты это помни! Выдержку нужно иметь!.. В Англии полиции – уважение и почет, а у нас – «па-ла-чи!» Пять пудов выжимаю, а кто это видит?.. Вот видишь знак? – Дерябин проворно спустил рукав тужурки и показал белый длинный широкий шрам. – Мерзавец, вор один – ножом сапожным; кровищи сколько вышло; зажило, как на собаке... Друг! Да, чтобы быть русским человеком, колоссальное здоровье для этого надо иметь... Факт, я вам говорю!

VI

В двенадцать часов пристав поднялся и сказал:
– Погуляем... Я им вчера поднес дулю с перцем, этим новобранцам драным, теперь они уж вряд ли... Но все-таки... Культяпый!

И, должно быть, уже дремавший где-то Культяпый прибежал, маленький, седенький, жмурый, и привычно помогал Дерябину одеваться.

Хорошая была ночь: безветренная, месячная, теплая. Приятно было, что дома тихие и небольшие и что от дома к дому идут невысокие заборы, теперь какие-то резиново-упругие на вид. А кое-где попадались старые белые хаты под камышом, и хороши были на палевых стенах синевато-черные резкие тени от нависших крыш.

Все шли медленно: и Дерябин с Кашневым и солдаты сзади. Под ногами был сырой песок, и от нестройного шага многих ног земля чуть-чуть бунела. Пахло палыми листьями акаций, а деревья, голые, стояли сквозными рядами вдоль улицы, и тени от них были чернее, чем они сами.

Дерябин говорил вполголоса:

– Я им вчера показал, будут помнить!.. Сразу теперь не тот коленкор. Вчера мы их, как в капканы, мерзавцев, ловили... Ты, Митя, охоту любишь?

– Охотился когда-то... мало: местность была такая, что, кроме сорок, ничего.

– Вот я поохотился на своем веку, – гос-споди, спаси благочестивые! Люблю это дело. И вот на крупную рыбу тоже. Я ведь с Оки, сомятник! У нас сомы такие – гусей глотают. У меня, когда я еще мальчишкой, патрон был по рыбной ловле, Завьялов, чиновничек... пьянюга, старикашка Черномор, сухонький этакий, маленький, черный, как жучок, глазастый, а жена – высокая дылда, смиреннейшего звания баба, так он ее – так не достанет – с табурета по щекам лупил, факт! Пойдем с ним на зорю в ночь, как начнет возле костра рассказывать, черт его дери! Чего с ним только не было!.. Теперь-то понимаю, что врал, а тогда как опишет!.. «Сомы, говорит, какие теперь сомы! В два пуда поймают, – ох, сомина велик! А вот мы раз, – я еще в уездном учился, – так поймали в омуте сома – шишнадцать пудов одни зебры!» Тамбовец был, а у них, тамбовцев, шишнадцать кругом... И как

его везли четверней и как народ шарахался – живо описывал... И ведь я ему, Черномору, верил, черт его дери!..

Засмеялся Кашнев, и Дерябин захохотал насколько мог тихо.

– Сомы так на полпуда, они даже вкусные, если их жарить, – ты едал? А вот посмотри, – перебил себя Дерябин, направив руку куда-то над крышами домов, – или это у меня очки запотели, – видишь над трубами свет?

– Светится, – сказал, присмотревшись, Кашнев.

И не только над трубами: и над коньками, и на ребрах крыш, и на деревьях вдали колдовал лунный свет, все делал уверенно легким, убедительно призрачным. Должно быть, к утру готовился подняться туман, и потому так как-то особенно теперь все светилось.

Пристав шел легко. Форменная тонкая круглая шапка делала его, тучного, остроконечным, и у Кашнева появилась четкая строевая походка.

– Сам я – рязанец, – говорил Дерябин. – На Оку попал, – было мне лет десять тогда. Утро было и туман, а через Оку – на пароме нужно. Подъехали мы на тройке, – другого берега не видать. Ширина такая оказалась, – волосы поднялись. Море! Море я на картинках видел, и вот, значит, теперь Ока... море! Хожу по берегу колесом. Въехали на паром, честь честью... Не пойму ничего: куда едем, как едем... Спросил еще, сколько дней будем плыть? А мужичок такой один мне: «Минут десять, минут десять...» Шут-ник!.. Скрип-скрип,

скрип-скрип, — взяли да и ткнулись в берег. Берег, все как следует: кусты и песок, и кулики свистят! Ревел я тогда: обидели мальчишку! Думал, море, вышел — туман... Стой, что это? Кричат или так?

Остановился пристав, и Кашнев, и солдаты.

Прислушались направо, налево, — нет, было тихо.

— То-то, родимые! Я знал, что уймутся, черт их дери! — сказал Дерябин, взяв под локоть Кашнева, и добавил: — Ну-ка, пойдем сюда, недалеко, — угостят нас вином бессарабским.

— Куда еще? Да и поздно, — остановился Кашнев. — А солдаты?

— Подождут. Эй, старший, — обернулся Дерябин. — Улицы обойти. Через час на этом месте, чтоб... Ма-арш!

Усиленно затопали и пропали за углом солдаты, а Дерябин перелез через какой-то полуразобранный тын, сильно захрустел раздавленным хворостом и скомандовал Кашневу:

— Гоп!

Потом пошли огородом, заросшим лопухами, потом были какие-то безлистые деревья, — кажется, груши, и около длинного, низкого, грязного — и луна не могла отмыть — дома остановились.

Дом спал. Наружные ставни были заперты болтами. Черепичная крыша с угла обилась, — чернели впадины.

Постучал в двери пристав, кашлянул во всю грудь.

В щели ставней мелькнули желтые полосы и тут же по-

тухли, потом опять мелькнули кое-где и опять потухли.

– Отсырели у анафемы спички, – буркнул Дерябин.

Женский голос робко спросил за дверью:

– Кто это?

– Я! – крикнул в нос пристав.

Женский голос визгнул протяжно.

– Ну, завизжала! – Дерябин нагнулся к двери и недовольно проговорил отчетливо: – Мадам Пильмейстер, не пугайтесь, – это я, пристав.

– Нехорошо... Спали люди, а мы булгачим, – сказал было Кашнев, но тут же поспешно отворилась дверь, и женский голос был уже преувеличенно радостный, когда кричал кому-то внутри дома:

– Роза! Мотя! Не бойтесь, пожалуйста, – это сам наш господин пристав!.. Ведь я же знала, честное слово, знала, господин пристав, чтобы мне на свете не жить, знала, что вы придете!

VII

В таинственной, довольно большой, но низкой комнате, освещенной дешевой лампой под красным бумажным колпаком, было тесно глазам от диванов, мягких кресел, цветных гардин, тяжелых скатертей на столах и ковров под столами. Но вся эта мягкота была старенькая, грязноватая, разномастная; подлокотники кресел и диванов лоснились, ска-

терти были закапаны и залатаны, ковры вытерты, и ото всего кругом – казалось, даже и от сырых стен и из-под пола – шел густой, тяжелый, мочальный запах. На стенах висели какие-то картинки в узеньких рамках, – казалось, и они пахли чем-то противным. Из этой комнаты куда-то в темные недра дома вело трое неряшливо покрашенных охрой дверей, и чуть приотворены были их половинки. Представлялось Кашневу, что там были еще какие-то люди, такие же таинственные, какими были в его глазах Роза, Мотя и старая толстая еврейка, впуславшая их с Дерябиным, и не мог он понять, зачем зашел сюда Дерябин.

Понимал смутно, когда глядел на Розу, рядом с которой сидел пристав. Лампа стояла на столе перед ними двумя, и от красного колпака горели в больших зрачках Розы пурпуровые точки. Одета она была в какой-то ярко-желтый капот, с вырезными рукавами, обшитыми кружевом. Кое-как наспех подоткнуты были темные волосы, и вся на виду была длинная шея, и чуть выступали бугорки ключиц. От колпака, должно быть, щеки ее казались нежными, розовыми, очень молодыми и губы яркими. И, наклоняясь к ней со стаканом красного вина в огромной руке, говорил Дерябин:

– Ну-ка, скажи скороговоркой: шел грек через реку, видит – в реке рак; грек руку в реку, рак в руку греку: вот тебе, грек, – не ходи через реку... Ну, сразу, гоп!

– Грек... Грек через рек... Ой, боже ж мой! – всплескивала Роза обнаженными до плеч руками. – Я не могу!

И смотрела на Дерябина, подперев щеку, улыбаясь сдержанно лукаво; в длинных черных ресницах прятались что-то знающие глаза.

Пристав разделся и был в тужурке, но не снимал шинели Кашнев. Думалось, почему Дерябин здесь, как у себя дома, почему он сам до сих пор не ушел, а сидит и смотрит и слушает, и еще – когда глядел на старуху с большим носом, отвисшими щеками и льстивым взглядом – обидно было за человека и жаль его. Но старуха хлопотала около него добродушно и настойчиво, подставляла вино, яблоки, орехи.

– Выпейте вина-а! Не хотите нашего вина выпить? Пили? И никогда нельзя поверить, что вы что-то там такое пили... Такой молодой, и уж офицер!.. Ну, может, вы бы яблочка съели, а-а?

И Кашнев, чтобы не обидеть ее, старательно чистил ножом и медленно жевал антоновку, твердую и кислую.

– Люблю женщин! – гремел тем временем Дерябин. – Не какую-нибудь одну, а всех вообще!.. – Он обнимал Розу близкими глазами, чуть прищурясь, улыбаясь, как улыбаются детворе. – Митя! Правда, она – на черкешенку? Есть сходство? Не замечаешь? Факт! Мадам Пильмейстер, признайтесь, – вы ведь тогда на Кавказе жили? Не то чтобы вы добровольно, а он вам башка кынжалом хотэл рэзать, – факт!.. Эх, народ бравый! Красавцы! Ингуши у меня под командой были – полсотни, шашку мне подарили с надписью: «Любимому начальнику»... Я тебе не показывал, Митя? Цены нет

– шашка!.. Перевертели девицам головы, – как воробьям! Шесть гимназисток с собой увезли в аулы... по соглашению, не то что силой. Отцы-матери бурю подняли, всю полицию на ноги подняли, а те домой идти не хотят: привыкли, – факт.

Мотя, брат Розы, должно быть не старый еще годами, но очень старый и скорбный лицом, сидел в углу один, глубоко упер в пристава чахоточные глаза, молчал, покашливал глухо. Иногда он хрустел пальцами, перебирая их по очереди все на правой руке и все на левой; проверял, все ли хрустят, – все хрустели.

– За неимением гербовой пишем на простой, – так, Митя? – кричал Кашневу пристав. – Но-о... костюм черкесский я тебе привезу, Роза, – факт! Тюбетейку с жемчугами, черкеску с патронами, папаху белую, а?... Красные сапожки, черт их дери, и кинжал за пояс, честь честью! А на сапожках каблучки вот какие – четверть! Ну-ка, встань! Ровно на голову будешь выше, дюша мой!.. Розочка, выпей вина!.. Не хочешь? Эitto что значит? Как не хочешь? Сейчас выпить! Ах ты... тварь!

И Дерябин, сопя и кряхтя, захватив правой рукою как-то всю целиком желтую Розу, запрокинув ей голову, старался заставить ее выпить, но мотала головой хохочущая и визжащая Роза, отбивала стакан сжатыми зубами, обливала вином тужурку пристава, и скатерть, и свое канареечное платье, и испуганно всплескивала руками мадам Пильмейстер:

– Роза, Роза! Что ты себе позволяешь такое, Роза! Это ж

вино! Это ж не отмоется, Роза!

Кашневу виден был весь тонкий профиль Розы: с горбинкой нос, острый девичий подбородок, не то обиженный, не то лукавый глаз, полуприкрытый ресницами, и неровный блеск на отброшенных назад волосах.

Странно: небольшая, тонкая, гибкая, рядом с огромным приставом, она казалась Кашневу древней, а Дерябин вдруг каким-то недавно родившимся, до того молодым, и даже вид у него теперь был растерянный, детский: что-то дрожало мелко около губ.

И в недоразлитый еще стакан пристав осторожно бросил новенький золотой, просительно посмотрел ей в глаза и сказал тихо:

– Выпей, Роза.

– Нет! – закачала головой Роза.

Еще золотой бросил пристав в вино:

– А теперь, Роза?

– Нет! – и раздулись ноздри.

– Что она думает такое! – визгливо крикнула мадам Пильмейстер. – Девчонка!

Она подступила было к столу, но тут же отодвинулась снова, отброшенная упругими, большими яркими глазами Розы. И когда Кашнев поймал этот гордый и тоже древний взгляд, в нем самом как-то шире стало и беспокойней.

Мотя на своем стуле задвигался и закашлял; он изогнул винтом и длинную шею и все сухое тело, чтобы лучше ви-

деть, и от волнения кашлял глухо.

Еще бросил в стакан золотой и улыбнулся вопросительно углами губ Дерябин, и так же отрицательно улыбнулась углами губ Роза. Тогда медленно из кармана тужурки достал он небольшую коробочку, надавил кнопку; отскочила крышка, блеснули синими искрами камней золотые серьги. И так же медленно, точно сам любуясь ими, опустил в стакан Дерябин сначала одну серьгу, потом другую. Смотрел на серьги, на вино, на Розу, и какая-то непонятная борьба шла между ними: хотя все по-прежнему была захвачена огромной рукою пристава Роза, впилась в него широким взглядом, видно было, как трудно дышала.

А за окнами ночь была. Горели пятна красного абажура и желтого платья Розы, у мадам Пильмейстер отяжелели и нос, и щеки, и толстые груди, и живот, и концы теплого платка, который накинула на плечи впопыхах, когда отворяла двери; и Мотя кашлял. Сначала закашлявши от волнения, он теперь кашлял затаенно, самозабвенно, согнувшись и приложив обе руки к чахоточной груди. И это среди тишины, когда колдовали древняя Роза с Дерябиным и когда Дерябину – так Кашнев подумал – дороже всего была именно тишина.

– Т-ты! – сдержанно крикнул на Мотю пристав, чуть повернув голову.

Кашлял Мотя, не мог остановиться.

– Во-он! Вон пошел! – побагровев, заревел пристав. – Во-он, ты... овца! Убью!

Что-то было разорвано, – тонкое какое-то кружево. Смаху отодвинув в сторону Розу, схватил правой рукою стакан Дерябин. Закричала что-то мадам Пильмейстер, бросаясь к Моте. Вскочил Мотя и, все еще кашляя глухо, кинулся в темную половинку дверей, но вдогонку ему швырнул стаканом Дерябин. Через голову Моти перелетел стакан: где-то в темноте другой комнаты засверкали тонко стеклянные брызги; потом еще что-то глухо упало на пол и покатилося, должно быть медный подсвечник.

Поднялся Кашнев, подошел к Дерябину, спросил тихо, дотронувшись до его локтя:

– Ваня, ты пьян?

– И чтобы к чертовой матери он ушел с кашлем, поганый харкун!.. И двери закрыть!.. – кричал, не глядя на Кашнева, пристав. – Убью, если увижу!

Лицо стало твердое, сжатое, ястребиное, и у мадам Пильмейстер, навалившейся спиною на закрытую дверь, за которой скрылся Мотя, сами собою испуганно поднялись жирные руки.

– Господин пристав! Ну ведь он же больной! – беззвучно шептали губы мадам Пильмейстер.

– Он – больной, да! – резко повторила Роза.

Повернул к ней голову пристав, и долго они смотрели друг другу в жаркие глаза, как враги.

– Ваня, пойдем-ка отсюда, ты пьян! – с серьезной и несколько брезгливой нотой в голосе, – нечаянно такой же

брезгливой, как у Дерябина, – требовательно сказал Кашнев.

Сдержанно, длинно сопя, пристав переводил круглые глаза с одного на другого из этих трех. Мотя все еще кашлял придушенно – должно быть, в подушку... А за окнами была тихая ночь.

– Митя, ты черкесских песен не знаешь? – спросил неожиданно Дерябин.

– Нет, – недовольно ответил Кашнев, – не знаю.

– Ни одной? И мотива не знаешь?.. А меня ингуши... то есть они не учили, я сам перенял... у меня ж слух!.. Слова, может, и перевру... вот!

И Дерябин тут же, медленно сгибая спину, сел за стол, весь освещенный лампой, сделал странное, задумчивое лицо, старое, ушедшее вглубь, выкатил белки, полусжал зубы и запел узким птичьим горлом, как поют на востоке. Звуки были высокие, длинные, с перехватами, с дрожью, и слова какие-то закругленные, вроде: «Саля-я-им баль-я-им, якши-и...»

Было странно Кашневу видеть, что вот нет уже прежнего молодого пристава. Теперь он сам древний рядом с древней Розой. Медленно вращает большими красными белками близоруких глаз, а возле губ откуда-то выползли и легли восточные скорбные складки, и дряхло качается голова, точно поспевая за уходящими куда-то звуками – вправо, влево, вверх. То сожаление о чем-то, что никогда не придет больше, то испуг перед чем-то, чего не поборешь, что всегда сильнее,

и тоска – такая холодная тоска, будто все тело не тело, а узкий погреб, и его медленно набивают зеленым февральским льдом.

Сухие картинки смотрели со стен, как вдовы в салопах, и у разномастной мебели был воровской распутный чужой вид, точно натащили ее сюда ночами из каких-то темных притонов, и у красного бумажного колпака было что-то наглое в цвете и в том, как он сидел набекрень на лампе; но шла тоска из широкоплечего дюжего тела Дерябина, старая, от древнейших времен по наследству доставшаяся тоска, и заволакивала и картинки, и мебель, и абажур, и самого пристава в его форменной тужурке, и страшное в старом безобразии лицо мадам Пильмейстер, и яркое в молодой непримиримости лицо желтой Розы.

Может быть, были и не те слова, как они долетали до уха Кашнева, и неизвестно было, что они значили – эти слова, но захлестывали, как крепкие веревки – не разорвешь, и уходила комната, и глаза у Дерябина были далеки и влажны, ушли в старинное...

А за окнами была ночь.

– Ну, гоп! Не хочу больше!.. Аристон, Роза! Заведи аристон, танцевать будем! – перебил себя на полутоне Дерябин. – Гоп!

Снова запахло домом, антоновкой, табачным дымом... И, удивленный, увидел Кашнев, как легко, по-птичьи, послушно подскочила к аристону Роза и преувеличенно шумно и

суетливо принялась крутить ручку.

Танцевали. Звуки аристана были хриповатые и с какими-то зацепами, остановками некстати, и с жеманностью, и недовольным рычанием, точно не машина, а кто-то живой.

Пузатые кресла и столы разметал пристав, чтобы было просторней, и тяжелый, тучный рядом с тоненькой Розой, танцевал неожиданно легко и красиво. Аристон играл какую-то старенькую польку, и сам был старенький, и все звуки, жившие в нем, тоже полиняли от времени и беззубо шепелявили, а пристав и Роза были молодые, и побежденно жалась к нему она, еще так недавно сонная, так недавно лукавая, так недавно гордая, и древняя, и гневная; жалась доверчиво, забывчиво, отданно; смотрела на него снизу, а глаза были застенчивые, пунцовые.

И когда оборвал вдруг аристон на низком жужжащем звуке, Дерябин тоже оборвал было танец, бегло посмотрел на аристон, на Кашнева, на старуху и опять с места взял тот же темп, сделал еще один лишний, ненужный тур до дверей с раскрытой половинкой, – не тех, за которыми кашлял Мотя, – других, протискался в них, пропустив вперед Розу, и захлопнул с законченным стуком податливое дерево, неряшливо окрашенное охрой.

И здесь, в большой комнате, стало тихо и пусто. Недавно хмельной Кашнев стоял теперь отрезвленно ясный, а против него, близко к красной лампе, стояла старуха. Там была вся, за дверями, но стояла здесь, с низким старым лбом, обвис-

шими щеками, добродушно толстая, в теплом платке и, пугливо растеряннo глядя на Кашнева, улыбаясь даже, говорила громко, громче, чем нужно было для двоих в пустой комнате.

– Такие молодые, и уж офицер! Ну, скажите! И вы, должно быть, даже приезжий, а то бы я знала... Мы давно тут живем, я тут всех-всех знаю... Ну, может, кого и не знаю... Роза тут родилась даже... Господин пристав – он вспыльчивый, а он человек добрый, я даже это хорошо знаю...

И так как в это время из комнаты налево донесся вдруг придушенный визг Розы, старуха как-то вскинулась вся и заговорила спеша, тоже визгливо, крикливо, сбивчиво:

– Даже мужа, Арона, обещали господин пристав из тюремного замка отпустить, как он же не подделывал векселя, пусть так мне на свете жить – и у нас на это свидетели есть... Это ж известное дело всем, что его запутали...

И так как в это время из комнаты справа слышалось, – кашлял Мотя, то вскинулась снова мадам Пильмейстер, и теплый платок спустился с плеча и трепался на полу концами.

– А Мотя, – он даже и не здесь живет, – он в Гайсине, в городе Гайсине, в Подольской губернии. А здесь он... ну, вы понимаете же, – он больной! Как он может содержать шесть детей? Он может работать? Он же в постели лежит!.. А она, мерзавка... Он же был женат, хорошо, – жена умерла чахоткой, две крошки остались, – их нужно одевать, кормить... А

она, мерзавка: «Ты на мне женишься, я им буду мать, а что три у меня своих, они уж большие и на разных отцов расписаны... Когда в субботу придут, — что они тебе помешают?» Как в субботу они пришли трое, так и остались... Да еще есть шестое промежду ними... А что Яша из запасных солдат убежал, то я ведь этого не знаю, может, он уже где...

— Я вот что... Я выйду на улицу, — запинаясь, сказал Кашнев. — У меня там солдаты и вообще... надо посмотреть... А пристав нас найдет, когда выйдет... вы ему передайте... Прощайте.

На лунном свету переливисто блестели безлистые свежие деревья, дальше в огороде четко чернели кочерыжки, и пахло теплою прелью, тихой сыростью, ноябрем. Забор в стороне был дощатый, старый, и серебрились щетинкою гвозди в верхней доске... «Ну его к черту, этого пристава, и все... Я возьму солдат и уйду», — подумал решенно Кашнев. И пока шел злыми, слитыми с землей шагами, то так и думал все: «Возьму солдат и уйду». Зло захрустел хворостом тына, упруго вышел на улицу, огляделся, — не было солдат. Только теперь услышал, как много было собак кругом, — близких, дальних, совсем далеких: их лаем кишела ночь.

Кашнев прошел было по улице вглубь, потом вернулся; с перекрестка слышал тихие голоса в переулке: мирно ожидали солдаты, рассевшись на широкой завалине мазанки и на кривых тумбах.

— Ну что, никого? Тихо? — спросил он и, не дожидаясь, что

ответит старший, добавил зло: – Пристав этот!.. Беспокоит попусту, черт его дери!.. Тоже наряд придумал, болван!.. Домой идем! Стройся!

Построились. Вдвоили ряды.

Была досада на пристава, но – откуда это? – бок о бок с нею такое странное любопытство к нему: что он теперь?

– Митя-я... Гоп-гоп! – зычно закричал в это время из глубины переулка Дерябин. – Гоп-го-оп!

Кашнев тронулся было идти с солдатами, но шагов через пять нерешительно остановился и солдатам недовольно вполголоса скомандовал: стой! А когда подходил пристав, сказал ему, покачав головою:

– Какой же ты, однако, удав!.. Какой удав!

VIII

И опять, как прежде, шли по улице Кашнев с Дерябиным и солдаты. Луна заходила, стало темнее, ближе к рассвету. Штыков сзади не было видно, – не блестели. Шаги тупо уходили прямо в землю.

– Вот... Человек себя жалеть не должен, – говорил медленно, точно сам с собою, Дерябин. – А раз только начал жалеть, – значит, шабаш, крышка! Не сейчас, так в скором времени ему крышка, аминь. Человек себя чувствует, – факт!.. Человек веселый, – да ему, куда ни шагай, везде – наше нижайшее, а заскучал, значит, рыбий крючок проглотил. Так?

– Ты к чему это? – спросил Кашнев, и так как ярким желтым извилистым пятном заколыхалось перед ним вдруг платье Розы, то он добавил: – У тебя что с ними, с Розой? Извини, что спросил.

Дерябин посмотрел на него, задержав шаг, чмыкнул и ответил спокойно:

– Э-э, есть о чем говорить!

И тут же, точно внезапно вспомнив вдруг, начал он рассказывать длинный еврейский анекдот. Потом, пока шли от дома Пильмейстер по улице, рассказал еще четыре анекдота еврейских, два армянских и один малороссийский.

Ой да на-а-ле-тілы гу-уси
З дале-ка-а-аго краю-ю...

Откуда-то издали это медленно воровато прокралось в ночь. Голос был молодой, высокий, покрывал собою гармонику, но проступала под ним и гармоника, как под тонким зеленым листом проступает на солнце схоронившийся с тылу жук. Ожила и осмыслилась ночь и собралась вся в кулачок к тому месту, где пели.

– Есть! – довольно и значительно сказал, остановившись, пристав. Отстегнул пуговицы у ворота тужурки. Поднял руку, – остановил солдат. И странно было, но Кашневу почему-то показалось это тоже каким-то желанным, как желанна бывает охотнику случайно налетевшая дичь.

И как раз еще о гусях пел высокий полумальчишеский голос:

Ой да за-му-ты-лы во-о-оду
В ти-хо-му Дунаю.

И еще два голоса пристали к нему: один озорной, шалопайский, с подвыванием не в тон, другой добросовестный, старательный, только несмелый, грубый и сильный:

А бода-ай ті-іи гусн-и-и
З гильечко-ом пропалы...

— Эх, не доносит, подлец! — вполголоса выругался пристав. Впереди, на пути у тех, кто пел, стоял водопроводный бассейн. Шикнув и согнувшись в полупрозрачной ночи, протаскил Дерябин за собою гуськом, как выводок, Кашнева и солдат к этому бассейну. Грязно здесь было, топко, как в болоте, конюшной пахло, и солдаты присели на корточки, подбрав шинели. Вместе с песней вспыхивал все ближе, ближе собачий лай.

Видно их стало: шли трое, гармонист в середине. О гусях пропели уж все до конца, но не хотелось, должно быть, расстаться с напетым мотивом. Тихо, чтобы разлиться потом всюду, начал средний снова:

Ой да на-а-ле-ті-лы гу-у-си-и

З да-ле-ка-а-го краю...

И лихо подхватили двое других, равняясь с бассейном:

Ой да за-му-ты-лы во-о-о...

– Держи их! – бросился наперерез пристав.

Кашнева точно подбросило за ним. Торопливо шлепая по грязи, вперебой, табуном отовсюду, как в атаку, кинулись солдаты... Певуны ахнули, отшатнулись, стали.

Пожалуй, незачем было Дерябину расстегивать верхние пуговицы тужурки: парни были квелый, хлипкий народ. Бил их пристав со всего размаха, – с правши и с левши. Двое упали сразу, третий, с гармоникой, еще держался, но со второго удара сбил с ног и его Дерябин. Куча сваленных парней барахталась в сыром песке. Чуть поднялся парень с гармоникой...

– Господин пристав! Это... за что же бьетесь?

– Мало тебе? Додать?

Пнул его сапогом в бок Дерябин, застонал парень.

– Будет вам, что вы! – взял пристава за руку Кашнев. – Зачем?

– Как? – озадачился пристав. – Мерзавцы, воры, – по ночам орать!..

– Да ведь новобранцы... как же воры? – ответил Кашнев.

– Мы и вовсе не новобранцы, – плачущим голосом вставил кто-то из кучи. – Так мы, ребята здешние.

– Значит, и воры! Еще лучше... Да здесь же все воры, скот!

– А вы нас ловили? Воры... – поднялся было парень с гармоникой.

– Что так-кое?

– Вы нас не ловили, – по-пьяному упрямо повторил парень.

– Ты? Как смеешь? – изумленно и потому как-то тихо даже спросил пристав. – Как смеешь? Смеешь как?..

И Кашнев не мог его удержать.

IX

Привели в часть и заперли избитых парней в каземате. Солдаты ушли в казарму. Кашнев остался у пристава, где Кульяпый постелил ему постель.

Долго сидел на этой постели Кашнев, молча глядел на Дерябина, который, сопя, читал и подписывал у стола какие-то бумаги, пил квас из графина, дымно курил.

Но вот пристав снял тужурку, остался в одной крупно вышитой на груди рубахе, подошел к иконе, около которой горела лампада, грузно стал на колени и начал отчетливо, громко читать молитву ко сну отходящих:

– «Боже вечный и царю всякого создания, сподобивый мя даже в час сей dospети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, господи, сми-

ренную мою душу от всякия скверны плоти и духа...»

Читал долго, потом прочитал еще две длинные молитвы, поклонился земно и встал с колен. А в это время разделся Кашнев, потянулся устало и лег.

– Ты что же это? Немолякой? – покосился на него Дерябин.

– Дда... отвык... давно не молился, – просто ответил Кашнев.

– Ты – человек ученый, юрист... тебе это, конечно, стыдно... – медленно проговорил Дерябин, кашлянул, посопел и добавил: – А я – молюсь, прошу простить... Я, брат, ничего в жизни не понимаю и потому молюсь.

Он покопался в столе, шумно выдвинул ящик и достал фотографию; доставал как-то медленно, ощупью, и держал отвернувшись, поднося ее Кашневу.

– Вот видишь... присмотришь хорошенько: мой сын Юра, девяти лет! Присмотришь!

– Красивый мальчик, – сказал Кашнев, искренне любуясь мальчиком – большеглазым, пухлогубым, с челкой, в суконной матроске.

– Умница был! Рисовал как! Всмотрись внимательно, – я еще не могу... Шесть недель назад от дифтерита умер: не могу смотреть... Он не при мне жил, то есть не моя фамилия, и прочее, но-о... только он мой был, настоящий... моей крови... Вот и спроси его, зачем умер.

Пристав стал у окна, побарабанил пальцем, потом, сопя,

взял у Кашнева фотографию и, не глядя, спрятал в стол. Посвистал глухо и вдруг опять начал надевать тужурку отчетливо и решенно.

– Куда? – спросил Кашнев.

– Куда? Куда надо, куда надо, да, куда надо! – скороговоркой ответил Дерябин; потянулся, оглядел правую руку, и Кашнев только теперь заметил на ней три массивных золотых перстня, должно быть таких же жестоких при бое, как кастет.

– Ты... в каземат? – спросил он несмело.

– Я их прошупаю, какие они такие ребята, здешние, – раскатистым голосом ответил Дерябин, прикачнув головой.

– И охота!.. Ложись-ка спать, – поднял голову на локоть Кашнев.

– Я их прошупаю, здешних ребят! – повторил пристав в нос и с тою же металлической брезгливостью в голосе, какая была у него раньше.

Кашнев медленно сел на постели.

– Знаешь ли, что я тебе скажу, Ваня, – проговорил он решительно, но добавил как-то не в тон: – Ты ведь шутишь, что идешь в каземат?

– Как-к шучу? Зачем шучу? – зло удивился Дерябин.

Кашнев представил измятую солому на полу каземата и как на соломе валяются парни... и толстые перстни пристава... желтые перстни, желтая солома, желтое платье Розы, – мутно было в голове... И с усилием поднялся Кашнев, за-

бывши уже, что он – прапорщик, и так, как лежал в постели, в одном белье подошел к приставу, улыбнулся ему и просительно сказал:

– Ваня, если ты идешь избивать до полусмерти этих – арестованных, то... объясни мне, зачем ты это?

– Воров? – спросил Дерябин.

– Какие там воры!

– Постой!.. Объяснить?.. Постойте-е! – отступив на полшага, высокомерно сказал пристав. – Вы – дворянин?

– Да, дворянин! – опешив немного, твердо ответил Кашнев, хотя был он сыном мелкого чиновника.

– Дворянин? Шестой книги? Руку! – и чопорно пожал руку Кашнева Дерябин; потом, насупившись и отвернувшись вполоборота от Кашнева, он заговорил медленно, глухо, обиженно, обдуманно, выкладывал затаенное: – Так как же вы мне... на улице... при исполнении мною обязанностей служебных... говорите под руку? Не замечание, конечно, но-о... вообще суетесь?.. Так что воры вас за полицмейстера принимают, а?.. Кто же и может вмешиваться в мое дело? Полицмейстер, губернатор... вы собственно кто?

Кашнев посмотрел удивленно на новое, теперь расплывшееся, потное, с прищуренными глазами, ожидающее лицо пристава и сказал первое, что пришло в голову:

– Вот что... сейчас я оденусь!

И пошел к постели.

– Одеваться, этого я от вас не требую! – крикнул Дерябин.

– Ничего вы не можете от меня требовать! – крикнул, вдруг раздражаясь, Кашнев.

– Ничего? А по форме представиться извольте, ничего! Бумагу о назначении вручите! Приказание командира вашего эшелона... – Ничего?!. А то я не знаю, с кем это я имею удовольствие в одной комнате, собственно говоря! Насколько это безопасно для меня лично!

Кашнев промолчал. Хотелось одеться скорее. Руки дрожали. Он даже как-то и не обиделся, точно давно ожидал этого от пристава, но как в глубокие окопы, как под кованный щит хотелось стать ему под защиту мундира, новеньких офицерских погонов, кушака, строевых сапог... или просто хотелось только этого: чтобы не было Кашнева, Мити Кашнева, которому белье метила крупными метками сестра Нина, когда он был еще студентом последнего курса, – чтобы был Кашнев прапорщик, офицер такого-то полка и тоже при исполнении обязанностей, как и пристав.

Кровь шумно раз за разом била в виски, и это слышно было сразу во всем теле, как короткое односложное слово: «Хам!.. хам!.. хам!..» Но одевался Кашнев молча, стараясь не делать лишних движений и не слушать, как сопел, точно мехи раздувал, Дерябин. И когда надел он наспех шашку, португеей поверх погона, он уверенно сунул руку в боковой карман, так как ясно вспомнил вдруг, что именно сюда положил бумажку, и так, с бумажкой, сложенной вчетверо, – как раз пришелся сгиб на синей эшелонной печати, – Каш-

нев подошел к Дерябину и сказал вызывающе:

– Вот. Извольте!

Пристав стоял, грузно уперев левую руку в угол стола, правую заложив большим пальцем за белую пуговицу тужурки, наклонив голову по-бычьей, настолько низко, насколько позволил прочный подгрудок, и выпуклыми мутными глазами смотрел на него исподлобья.

Бумажку он взял, протянул к ней четыре свободных пальца правой руки, но не поглядел на нее, – глядел в глаза Кашневу, не мигая, по-прежнему мерно сопя.

– Я вас прошу прочитать ее при мне! Не угодно ли прочитать, а не прятать! – подбросил голову Кашнев, а голосом сказал не особенно громким, только подсушил каждое слово, – казенными сделал слова.

– Про-ку-рор будущий! – нараспев проговорил Дерябин, улыбнувшись глазами, а губы тут же он забрал в рот, чтобы не улыбнуться широко и полно, чтобы не засмеяться; от этого все лицо стало лукавым.

Как раз в это время закричал попугай в столовой. Его разбудили светом и голосами, и теперь он сердито трещал спицами, кричал и ругался, как выживший из ума злой старикашка.

А Кашнев прощупал в кармане колючий значок и медленно, нарочно медленно, приладил его на груди и закрепил кнопкой.

– Командиру эшелона я подам рапорт... подробный ра-

порт, — сказал он опять служебно четко; и так как Дерябин смотрел на него так же, как и смотрел, зажавши губы, улыбаясь глазами и не говоря ни слова, то Кашнев повернулся и пошел в столовую, куда падал через двери свет полосой, по этой полосе прошел в третью комнату, пустую и темную. нужно было найти шинель и фуражку, одеться и уйти, но никого не было в комнате.

— Культяпый! — крикнул Кашнев, невольно с таким же тембром голоса, как у пристава, и вдруг услышал: сзади раскатисто хохотал Дерябин. Даже как-то жутко стало от этого хохота.

— Митя! Прокурор! — кричал пристав. — Вот роль я как выдержал! Хорошо? — и заколыхалась сзади его сырая фигура, приволокла с собою кощунство, трущобу.

— Нет уж, будет! Ради бога, увольте! Довольно!

Кашнев так был смущен этим новым изгибом пристава, что ничего не мог сказать больше, — только нижняя челюсть дрожала.

Культяпый высунул седую голову, прокатившись неслышно по полу, — не одетый, в одной рубашке, босой, маленький, весь собранный в белый комочек, похожий на какаду; догадался, что нужно, скрылся и тут же вытащил откуда-то фуражку и шинель; неслышно стоял с ними старенький, мигая глазами.

— Митя? Зачем? — умоляющим голосом сказал вдруг Дерябин, тихо взяв Кашнева за плечи. — С постели тебя под-

нял, — это глупо вышло... Очень глупо, и в том каюсь, прошу простить!.. Может быть, водочки выпьем, а? Да не одевайся же, брось! Что ты? На черта мне было в каземат? Да это ж я в конюшню хотел, — лошадь там больная, — посмотреть и только... факт! Ничего больше.

И, говоря это, он сжимал Кашнева все теснее — мягко, плотно и жарко, и, должно быть, мотнул головою Кулятьяпо-му или просто посмотрел на него выразительно: ушел куда-то Кулятьяпый с шинелью.

— Нет уж, будет! И нечего мне ерунду эту... Я не мальчик! — старался как можно злее и резче выкрикнуть Кашнев, но странно, — не вышло.

— Митя! У тебя ж душа! — восторженно кричал Дерябин, поворачивая его незаметно опять к столу, с которого не прибраны были еще бутылки и консервы. — Вот вишневый ликер, не хочешь? Даже и кофе можно сварить, я сам сварю... Но чтобы не отличить шутку от сурьеза — простой шутки армейской, — Митя, как же ты так? Ведь сам служишь в армии!.. Я тебе спать не дал, но-о... ты ведь выспишься дома, — ты молодой, что тебе? Я вот сам третью ночь не сплю... Бессонов!.. Митя! Если б ты знал, как мне моя служба опротивела! Ах, черт же ее дери, если бы ты знал только!

Он насильно посадил Кашнева в мягкое кресло перед столом, сам, поворотившись оборотисто, вынес из спальни лампу и, в то время как Кашнев смотрел на него недоверчиво и нетерпеливо, все время порываясь встать и уйти, говорил

как будто даже и не пьяно, сердечно, искренне, возбужденно:

– Митя, ты вот честный, я понимаю, я не олух, слава тебе господи, – олухом никогда не был, но-о... у меня ж сила! Борцом в цирке где угодно выступать могу и без упражнений безо всяких, черт их дери! Куда сила идет? На кого? Я тебе перечту сейчас по пальцам, а ты слушай. Сила идет на воров, на мошенников, на мерзавцев, на прохвостов, на шваль, на цыган, на... на образа-подобия человеческого не имеющих, на грабителей, на сволочь неисчерпаемую, – двенадцатый палец, – на уличаемых, на предателей, на бродяг, на левых, но и на правых также, на пропойц, на укрывателей, на всякого вообще, который прячет, черт его дери!.. Да ведь нет его, факт, нигде его нет, человека, которому прятать нечего. Всякий прячет, потому что – вор, а я – гончая собака, бегаю, нюх-нюх – кусты нюхаю... За что осужден? А это и есть основа всех основ: воровать воруй, но... прячь! Прячь, – все киты здесь: тут тебе и социология, и генеалогия, и геральдика, и восточный вопрос!.. Митя, ведь честного дела этого, я его так ищу, как свинья лужи, уж сколько лет! На честное дело я на пятьдесят рублей в месяц пойду! Факт, я вам говорю!.. Вот тужурка – видишь? Два года ношу, с уж на ней – всякая кровь на ней побывала за два года: и цыганская, и молдаванская, и армянская, и хохлацкая, и кацапская, – отмывал и ношу, нарочно не меняю – ношу. Да без этого (сжал он тугой кулак пуда в полтора весом) с этим народом, да без этого, – тебя как нитку в иголку вденут

босаяцкие портки латать, – факт! У нас жестокость нужна!.. Строй жизни, строй жизни! Никакого строя жизни нет у нас, черт его дери! Половодье! – телеги не вывезешь!.. У нас кости твердой нет, уповать не на что, понимаешь? Лежит и по земле вьется, сукин сын, а встать не может. Как это нас вот теперь на Дальнем Востоке... ты подумал? Да скажи мне при начале войны, что нас будут... я бы за личное оскорбление счел, и капут, безо всякой бы дуэли капут!.. Митя, вот крещусь и божусь, – в случае насчет свободы если, – пойду! Дай только с кем идти – и пойду, опереться чтоб было на что-нибудь – и конец, пойду! Потому что и мне, хоть я и пристав, нужно, чтобы было что уважать!.. Милый мо-ой! Да что же мне, кроме как приставом, и места нету? Да я всякого дела на своем веку переделал, – манеж беговой! И еще меня на сорок манежей осталось, факт!.. Приду и скажу: с потрохами берите, если годен, – брей лоб и на позицию рысью марш-ма-арш! Везде гожусь!.. Я? Я везде гожусь, милый мо-ой! И людей я могу школить так, что и они годятся, – возле меня дармоедов нет! У меня вон Культяпый, нянька мой, божий старик, а я и ему спать не даю, когда сам не сплю, верно! И если быю я кого, – противно тебе, – то ведь, милый мой, ты юрист, – сам знаешь: кто сам не хочет, чтобы его били, того не бьют! Ведь даже и история вся, что она такое? Только и всего, что мемуары, кого и за что били, по порядку. Зря и людей не бьют. Бьет тот, у кого право на это есть. А что такое право, – это уж мне юристы говорили – никто этого толком

не знает: прав всяких много, а что такое право – точно и ясно, – это вам, правоведам, неизвестно, факт.

– Как неизвестно? – спросил было Кашнев, но тут же забыл об этом.

Вот что было.

Пристав говорил, а Кашнев чувствовал себя отдельно, его отдельно. Он еще раньше искал слова, теперь нашел: на него «хлынул» пристав, – просто прорвал какую-то плотину и хлынул, и такое ощущение было, точно увяз по колено в хлынувшем приставе, как в чем-то жидком и густом. Теперь он не думал уже, что он – в наряде, на службе, наряда не было и службы не было, был только Дерябин. Роста он был огромного, плечист, полнокровен, лупоглаз, с осанистым бычьим подгрудком, говорил гулким басом немного в нос, и вот лился кругом и бурлил кудряво, как вода на быстрине, – только он, Дерябин, и не пристав даже, а просто Дерябин Иван, сначала Дерябин, а потом уж пристав, сначала сделает, а потом в слове «пристав» найдет оправдание.

Теперь Кашнев был совершенно трезв, и все, что он видел, он видел по-молодому ясно, и пустоту больших комнат ощущал так же отчетливо, как запахи: сургуча из канцелярии рядом, кислых консервов со стола, потного тела Дерябина – и не мог отделаться от представления: по колено утрыз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.